**МОСКВА-ПЕТУШКИ**

Действующие лица:

ВЕНЯ

ЭН, мужчина

ЭЛ, женщина

ЭМ, старик

ГЭ, мужчина с бородой

CЭ

АНГЕЛЫ

МАЛЬЧИК

ОНА

МИТРИЧ

ВНУК Митрича

УМНЫЙ/ДЕКАБРИСТ

ЧЕРНОУСЫЙ

УСАТАЯ

СЕМЕНЫЧ

ТУПОЙ

КНЯГИНЯ

МИТРИДАТ

ТРЕХГОЛОВЫЙ ПЕС

ПУБЛИКА на вокзале, в поезде и прочая

Ранее утро. Веня стоит посреди площади Курского вокзала, смутно глядя в вокзальные часы. Волосы его то развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Тишина.

ВЕНЯ. Изваять меня вот так, в назидание народам древности, или не изваять?

Сиплый женский бас объявляет из ниоткуда:

«Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная. Далее по всем пунктам, кроме Есино».

Сейчас же площадь наполняется людьми и звуками, люди обтекают Веню со всех четырех сторон, толпа увлекает его за собой. «Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная. Далее по всем пунктам, кроме Есино».

Веня переходит на бег. Рядом с ним возникает Эн. Эн хохочет, подмигивает Вене одним глазом, хлопает его по плечу.

ЭН. Ведь ты из магазина, Веничка?

Веня не знает этого Эна и отвечает не сразу.

ВЕНЯ. Да…

Веня продолжает бежать в направлении перрона, Эн растворяется в толпе. Веню догоняет усатая барышня Эл.

ЭЛ. Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

Эл тоже улыбается и подмигивает, смеется чему-то, запрокинув голову, но в целом производит на Веню приятное впечатление, так что он решается отвечать ей честно.

ВЕНЯ. Ну, это как сказать! Чемоданчик, точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано…

За правое плечо Веню хватает какой-то чистенький папашка Эм.

ЭМ. Так что же, Веничка, что же ты, все-таки, купил?

ЭЛ. Нам страшно интересно!

Веня аккуратно высвобождает свое плечо, продолжает бежать и быть благожелательным.

ВЕНЯ. Да ведь я понимаю, что интересно…

Тут уж чуть ли не каждый второй, пробегая мимо Вени, заглядывает ему в глаза и спрашивает: «Что в чемоданчике, Веня?» Веня растерян и смущен, но честен до конца.

ВЕНЯ. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая…

ЭН. Да-а-альше!

ВЕНЯ. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре…

ЭЛ. А еще-е-е?

ВЕНЯ. Еще какое-то красное…

ЭМ. Какое? Какое?

ВЕНЯ. Сейчас вспомню. Да — розовое крепкое за рупь тридцать семь.

ЭН. Так-так, а общий итог?

ЭЛ. Ведь все это страшно интересно!

ВЕНЯ. Сейчас я вам скажу общий итог. Общий итог — девять рублей восемьдесят девять копеек.

Толпа выкатывается на перон, переходит с бега на бодрый, почти спортивный шаг. Все со вниманием слушают Веню.

ЭМ (грозит Вене пальцем). Но ведь это не совсем общий итог!

ВЕНЯ. Нет. Точно, не совсем. Я ведь купил еще два бутерброда, чтобы не сблевать.

ЭЛ. Ты хотел сказать, Веничка: «чтобы не стошнило?»

ВЕНЯ. Нет, что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить может и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

ЭН. Зачем? Опять стошнит?

ВЕНЯ. Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать — сблюю.

Все смотрят на Веню, качают головами.

ЭЛ. Как это сложно, Веничка, как это тонко!

ВЕНЯ. Еще бы!

ЭН. Какая четкость мышления!

ЭМ. И это — все?! И это — все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше — ничего?

ВЕНЯ. Ну как, то есть, — ничего?..

Все входят в вагон, рассаживаются по скамейкам, но не оставляют Веню. Все им поглащены, всем про него интересно, все слушают. Веня занимает свое место у окна.

ВЕНЯ. Было б у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь…

ЭЛ. О-о-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

ВЕНЯ. Ну, так что же? Пусть примитив… (Молчание.) Я на этом перестаю с вами разговаривать. Пусть примитив! И на вопросы ваши я больше не отвечаю.

Веня прижимает к сердцу свой чемоданчик и отворачивается ото всех, смотрит в окно. Вот так. «Пусть примитив!»

ЭН (хлопает Веню по плечу). Ты чего? Обиделся?

ВЕНЯ. Да нет.

ЭМ. Ты не обижайся, мы тебе добра хотим.

ЭЛ. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?

ВЕНЯ (резко поворачивается от окна). Да причем тут водка?!

«Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».

ЭН (к Эл). В самом деле, при чем тут водка?

ВЕНЯ. Далась вам эта водка! Да я до магазина еще, если хотите, прижимал его к сердцу, а водкой там и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать — я вам все расскажу, погодите только. Вот похмелюсь только на Серпе и Молоте и…

*Москва — Серп и Молот*

И тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю! *Ну конечно, вы считаете меня дурным человеком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который не успел похмелиться! Зато по вечерам — какие во мне бездны! — если, конечно, хорошо набраться за день — какие бездны во мне по вечерам!*

*Но — пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий — он очень дурной, этот человек. Утром плохо, вечером хорошо — верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот — если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение — это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю, как вам, а мне гадок.*

*Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и вос ходу они рады, и заходу тоже рады — так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно — и утром, и вечером, — тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченый подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а елисеевский — тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны…*

Итак, что же я имею?

Веня приоткрывает свой чемоданчик и ощупывает все, что он имеет: от бутерброда до розового крепкого за рупь тридцать семь. Ощупал — и вдруг затомился я весь и поблек…

ВЕНЯ. Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, господи, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь…

Гэ с бородой, весь в синих молниях, сидящий тут же, поворачивается к Вене и серьезно смотрит на него. А все смотрят на Гэ. И наступает почтительная тишина.

ГЭ. А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

ВЕНЯ. Вот-вот! Вот и мне, и мне тоже — желанно мне это, но ничуть не нужно!

Веня ждет от Гэ еще ласковых и мудрых слов. Но Гэ встает со своего места и уходит курить в тамбур. В царящей почтительной же тишине Веня достает из чемоданчика четвертинку и идет вслед за Гэ.

В тамбуре с Гэ.

ВЕНЯ. Так. Мой дух томился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, чтобы не стошнило. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия.

Тут для Вени на несколько секунд наступает момент тишины, истины и сосредотоения.

ВЕНЯ. Раздели со мной трапезу, господи!

*Серп и Молот — Карачарово*

И Веня немедленно выпивает… А выпив, падает к ногам Гэ в страшных корчах. Долго продолжаются его муки – сколько курит Гэ, столько корчится и ругается Веня, ухватив себя за горло, катаясь по полу.

Гэ тушит сигарету и выходит на своей станции. Веня остается один.

*Карачарово — Чухлинка*

Веня кое-как приглаживает волосы и возвращается в вагон. Эн, Эл и Эм ждут его на прежнем месте. У соседнего окна Веня замечает двоих: один такой тупой-тупой и в телогрейке, а другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. Они наливают,пьют и закусывают.

ЭН. Что ты сейчас там на площадке выделывал?..

ЭЛ. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто тебя что душило?

ВЕНЯ (помолчав). Я репетировал. Я играл бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский».

ЭЛ. Играл в одиночку и сразу во всех ролях?

ВЕНЯ. Да, так. Я изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя — о, такое нашептал! — и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, — я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу.

Молчание.

ВЕНЯ. Да мало ли что я там делал?..

ТУПОЙ (выпив и крякнув). А! Хорошо пошла, курва!

ВЕНЯ. Вон — справа, у окошка — сидят двое. И пожалуйста — никого не стыдятся — наливают и пьют. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук.

УМНЫЙ (выпив). Трансцендентально.

ВЕНЯ. Как, а? И таким праздничным голосом!

ТУПОЙ. Заку-уска у нас сегодня — блеск! Закуска типа «я вас умоляю»!

ВЕНЯ. Поразительно!

УМНЫЙ (жует). Транс-цен-ден-тально!..

ВЕНЯ. Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли — мавра или не мавра? Плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром… Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью — прячусь. Во время работы пью — прячусь… А эти!! «транс-цен-ден-тально!»

Мне очень вредит моя деликатность. В Павлово-Посаде было – меня подводят к дамам и представляют так:

— А вот это тот самый знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул…

ЭЛ. Как!! Ни разу!!

ВЕНЯ (кивает на Эл). Вот и они тоже. Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

— Ну как то есть ни разу! Иногда… Все-таки…

— Как!! — еще больше удивляются дамы. — Ерофеев — и… Странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь и говорю примерно так:

— Ну… А что в этом такого… Я же… Это ведь — пукнуть — это ведь так ноуменально… Ничего в этом феноменального нет — в том, чтобы пукнуть…

ЭЛ. Вы только подумайте!

ВЕНЯ. А потом трезвонят по всей петушинской ветке: «он все это делает вслух и говорит, что это не плохо он делает! Что это он делает хорошо!»

Ну вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар — кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет — «превратно» бы еще ничего! — но именно строго наоборот, то есть, совершенно по-свински, то есть, антиномично.

Я многое мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все — я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как меня неделю назад сняли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков».

Все внимают Вене. Даже Умный с Тупым оставляют свою закуску и только изредка машинально выпивают.

ВЕНЯ. Все наше московское управление сотрясается от ужаса, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут ужасного, казалось бы!..

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю следовало бы мне еще раз выпить, но уж я лучше сначала вам расскажу, а потом уж выпью.

*Кусково — Новогиреево*

ВЕНЯ. Итак. Неделю назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад — назначили. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем, и кабель укладывали под землю. А потом — известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент. Один — вермут пил, другой, кто попроще, — одеколон «свежесть», а кто с претензией — пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: сначала садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом — что же? — потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг-друга: «Леха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» вставали, доигрывали в сику. А потом — ни свет, ни заря, ни «свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтоб он до завтра отмок и пришел в негодность. А уж потом — каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой — пили вермут, на третий день опять в сику, на четвертый — опять вермут. А тот, кто с интеллектом — тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабана мы, конечно, и пальцем не трогали, — да если бы я и предложил тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, а потом били бы меня кулаками по лицу, ну, а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «свежесть».

И до времени все шло превосходно. Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге: в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-ой комнаты даян эбан?» а тот отвечает с самодовольною усмешкою: «Куда ж она, падла, денется? Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плечи и неозаренные туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, — сказал, — вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? Они прочли. Но, вопреки всему, она сказалась на них удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт, — и восторжествовала «свежесть», все пили только « свежесть».

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше соломона одетые полевые лилии! — они выпили всю «свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что господь бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков — известна ли тебе? И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня, наконец-то, и поперли…

*Новогиреево — Реутово*

Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленевой бумаге черной тушью рисуются две оси — одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной — количество выпитых граммов в перерасчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером — величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.

Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой — столько-то и того-то. А я, черной тушью и на веленевой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина.

Веня на пыльном стекле рисует волнистую линию. Публика в восхищении.

ВЕНЯ. А это — Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., потрепанный старый хрен.

Веня рисует.

ВЕНЯ. А вот уж это — ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников птурс, Веничка Ерофеев.

Веня рисует. Публика в совершенном и бурном восторге.

ВЕНЯ. Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда — интересные? У одного — Гималаи, Тироль, бакинские промыслы или даже верх кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел.

У другого: предрассветный бриз на реке Кама, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего — биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это — если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну, мне, например) эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я рассматривал теперь со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал; в один злосчастный день у меня с рабочего стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось, эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, — и, сдуру или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже — получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на москвиче в расположение нашего участка. В четверть часа все было решено: моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие совершилось — ровно через тридцать дней после вознесения. Один только месяц — от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали.

Молчание.

ВЕНЯ. И вот — я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтоб по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я — не такой.

Как бы то ни было — меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня — снизу — сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху — лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс — послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

 – ФУУУУУ!!!

Вагон заполняется светом, крыша его становится совершенно прозрачной и с неба прямо на лавку к Венечке под божественную музыку слетают ангелы небесные.

АНГЕЛЫ. Фуууу!

ВЕНЯ. Ангелы небесные!

АНГЕЛЫ. Фуууу!

ВЕНЯ. Это вы, ангелы, сказали «фффу!»?

АНГЕЛЫ. Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!

ВЕНЯ. Да как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю.

АНГЕЛЫ. Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце…

ВЕНЯ. Да, да, в тот день мое прекрасное сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «тебя обидели, тебя сравняли с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся, как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? — он брюзжал и упорствовал: «ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться, как сука, а выпей четыреста граммов и завязывай».

*Реутово — Никольское*

ВЕНЯ. И тогда рассудок: «Ну хорошо, Веня, — сказал, — хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома».

Что ж вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках — твое спасение и радость твоя, поезжай».

АНГЕЛЫ. «Петушки — это место, где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех — может, он и был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»

ВЕНЯ. Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета — белого, переходящего в белесый — эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше, чем через два часа, будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной — о, вы такое увидите!..

ЭН. А что впереди?

ЭЛ. Что в Петушках, на перроне?

ВЕНЯ. А на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и колыхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона — зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!

АНГЕЛЫ. «А там, за Петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, — там совсем другое, но то же самое: там, в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев…»

ВЕНЯ. Он знает букву «ю» и за это ждет от меня орехов! Кому из вас в три года была знакома буква «ю»? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он — знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов.

Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока — вы уж простите меня — пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва…

Веня выходит в тамбур и там пьет.

*Никольское — Салтыковская*

Ангелы возникают в тамбуре, печально смотрят на Веню.

АНГЕЛЫ. Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков.

Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, омрачает душу — пусть ненадолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана — но, все-таки, омрачает. Тебе ли этого не знать?

ВЕНЯ. Ну пусть. Пусть будет светел мой сегодняшний день. Пусть мое завтра будет еще светлее.

Веня снова выпивает. Выпивает все.

ВЕНЯ. Почему вы смущаетесь, ангелы, чуть только заговорю я о радостях на петушинском перроне и после? Что ж вы думаете? Что меня там никто не встретит? Или поезд провалится под откос? Или в Купавне высадят контролеры? Или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика? Или зарежут, как девочку? Почему, ангелы, вы смущаетесь и молчите? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?

АНГЕЛЫ. Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и умно.

*Салтыковская — Кучино*

АНГЕЛЫ. Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много…

ВЕНЯ. Во всей земле, от самой Москвы до самых Петушков — нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим… И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?..

АНГЕЛЫ. Мы боимся, что ты опять…

ВЕНЯ. Что я опять начну выражаться? О нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы… Я с каждой минутой все счастливей… И если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо… Как в стихах у германских поэтов: «я покажу вам радугу!» или «идите к жемчугам!» и не больше того… Какие вы глупые-глупые!..

АНГЕЛЫ. Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь…

ВЕНЯ. До чего не доеду?!.. До них, до Петушков — не доеду? До нее не доеду? До моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы…

АНГЕЛЫ. Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до него не доедешь, и он останется без орехов…

ВЕНЯ. Ну что вы, что вы! Пока я жив… Что вы! В прошлую пятницу — верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать… Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля… Но сегодня — доеду, если только не подохну, убитый роком… Вернее нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней, я буду с утра пастись между лилиями, а вот уж завтра…

АНГЕЛЫ. Бедный мальчик…

ВЕНЯ. «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?

АНГЕЛЫ. О нет, до самых Петушков мы не можем… Мы отлетим, как только ты улыбнешься… Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся… Как только улыбнешься в первый раз, мы отлетим… И уже будем покойны за тебя…

ВЕНЯ. И там, на перроне, встретите меня, да?

АНГЕЛЫ. Да, там мы тебя встретим…

Сверхъестественную тишину, которая царит в тамбуре нарушает тихий детский стон. Стон раздается из вагона. Веня открывает дверь в вагон – никого, пусто. Только на лавке лежит мальчик, весь в завитках, в ореоле света, укрытый клетчатым пледом. Веня тихо подходит к мальчику, достает из своего чемоданчика бутылочку, присаживается на скамейку, выпивает. Ангелы проскользили вслед за Веней. Веня легко касается лба божественного ребенка.

ВЕНЯ (ангелам). Он в жару, и даже ямка на щеке вся в жару… (Молчание.)

Веня рассматривает мальчика.

ВЕНЯ. Диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар…

Веня выпивает.

ВЕНЯ (мальчику). Ты… Знаешь что, мальчик? Ты не умирай… Ты сам подумай (ведь ты уже рисуешь буквы, значит, можешь думать сам): очень глупо умереть, зная одну только букву «ю» и ничего больше не зная… Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?..

МАЛЬЧИК. Понимаю, отец…

ВЕНЯ. Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «поросячью фарандэлу» — помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Та-та-кие милые, смешные чер-тенят-ки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик…» а ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак… «с фе-вра-ля до августа я хныкала и вякала, на ис-хо-де августа ножки про-тяну-ла…» Ты любишь отца, мальчик?

МАЛЬЧИК. Очень люблю…

ВЕНЯ. Ну вот и не умирай… Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова чего-нибудь спляшешь… Только нет, мы фарандэлу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу… «на ис-хо-де ав-густа ножки протянула…» это не годится. Гораздо лучше вот что: «раз-два-туфли-одень-ка-как-ти-бе-не-стыдно-спать?»… У меня особые причины любить эту гнусность.

Веня выпивает.

ВЕНЯ. Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок… Ты понимаешь?.. Ты бегал в лесу этим летом, да?.. И наверное, помнишь, какие там сосны?.. Вот и я, как сосна… Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая-одинокая, вот и я тоже… Она, как я, — смотрит только в небо, а что у нее под ногами — не видит и видеть не хочет… Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я — пока не рухну, вечно буду зеленым…

МАЛЬЧИК. Зеленым.

ВЕНЯ. Или вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть… Вот и я: разве я не облетаю? Разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю да облетаю?..

МАЛЬЧИК (улыбается). Противно.

Веня улыбается тоже, ангелы отлетают. Отлетает и мальчик. Веня остается в вагоне один.

*Кучино — Железнодорожная*

ВЕНЯ. Но сначала все-таки к ней. Сначала — к ней!

Дверь в вагон открывается и входит Она, озаренная божественным светом, с косой от попы до затылка.

ВЕНЯ. Вспыхнуть, и напиться в лежку, и пастись, пастись между лилиями — ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!

Веня завороженно смотрит на Нее. А она все плывет, все приближается.

ВЕНЯ. Какая гармоническая сука! О рыжие ресницы! О невинные бельмы! О эта белизна, переходящая в белесость! О колдовские и голубиные крылья!..

Веня падает на скамью, а Она подплывает близко-близко.

ОНА. Так это вы: Ерофеев?

ВЕНЯ.Ну, конечно! Еще бы не я!

ОНА. Я одну вещицу вашу читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

ВЕНЯ.Так ли уж выше! Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!..

Она хохочет, берет из рук Вени бутылку и выпивает, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдыхает, все, что в ней было святого, изогибается, как падла, и начинает волнообразные движения бедрами.

ОНА. Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правою рукою!

ВЕНЯ. Ха-ха. «Властно»! И «правою рукою»! Что ж! Играй крутыми боками! Играй, обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь, истомившая сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что, может быть, есть — все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!

Она смеется, выпивает еще и сбрасывает с себя все лишнее.

*Железнодорожная — Черное*

ОНА. Ну как, Веничка, хорошо у меня…..?

ВЕНЯ. Ровно тридцать лет я живу на свете… Но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо…….!

ОНА (смеется). Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!

ВЕНЯ. О, дьяволица! Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобню, я облеку тебя в пурпур и крученый виссон, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь — лилии, допустим, будешь обонять. Поедем!

Она протягивает Вене шиш. Веня плачет.

ВЕНЯ. Но почему? — заклинаю — ответь — почему???

ОНА (плачет). Умалишенный! Ты ведь сам знаешь, почему! Сам — знаешь, почему, угорелый!

Она отдаляется от Вени, скрывается вместе с божественным светом тамбуре. Веня бежит за Ней. Но она отлетает, как отлетали ангелы и мальчик.

ВЕНЯ. Сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница — тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам, царица небесная!..

*Черное — Купавна*

Веня ходит по тамбуру в страшном волнении и все курит.

ВЕНЯ. И ты говоришь после этого, что ты одинок и непонят? Ты, у которого столько в душе и столько за душой! Ты, у которого такая в Петушках и такой за Петушками!.. Одинок?.. Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель, как понят. Все минувшее миновалось. Вот уж теперь — жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. «Человек смертен» — таково мое мнение. Но уж если мы родились, ничего не поделаешь — надо немножко пожить… «Жизнь прекрасна» — таково мое мнение.

*Купавна — 33-й километр*

*Электроугли — 43-й километр*

ВЕНЯ. Господи! Что мне выпить еще, чтобы и этого порыва — не угасить? Что мне выпить во имя твое?.. Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы тебя достойно! «Кубанская» — это такое дерьмо! А «российская» — смешно при тебе и говорить о «российской». И «розовое крепкое» за рупь тридцать семь! Боже! Нет, если я сегодня доберусь до Петушков — невредимый — я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии бога и людей. В присутствии людей и во имя бога. Я назову его «иорданские струи» или «звезда Вифлеема».

Веня направляется в вагон за своим чемоданчиком и четвертинкой «Российской». В вагоне он обнаруживает прежнюю публику и жужжание, и прочие звуки, и даже чемоданчик, но четвертинки «Российской», как раз, не обнаруживает.

Веня проходит ближе к своей лавочке и тут уже столбенеет.

ВЕНЯ (тихо, себе). Где моя четвертинка «российской»? (Оглядывается кругом, говорит громче, обращаясь уже к публике.) Где та самая четвертинка, которую я у Серпа и Молота ополовинил?

Тупой в телогрейке закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву, — а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спину лавочки, как в сердце тупая стрела Амура. Эн, Эм и Эл режутся в карты и даже не смотрят в Веничкину сторону.

ВЕНЯ. От самого Серпа и Молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти сто грамм. Где же она теперь?

Веня обводит глазами всех — ни один не сморгнул.

ВЕНЯ. Когда отлетели ангелы? Они следили за моим чемоданчиком — когда они отлетели? В районе Кучино. Так. Значит, украли между Кучино и 43-м километром. Пока я предавался восторгу чувства, меня лишали моей четвертинки «Российской». Ну, так — «довольно простоты», как сказал драматург Островский. И — финита ля комедиа. Не всякая простота — святая. И не всякая комедия — божественная… Довольно в мутной воде рыбку ловить — пора ловить человеков!..

Веня указывает пальцем на Умного и на Тупого и объявляет всем…

ВЕНЯ. Эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит, — значит, оба, в принципе, могли украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто, — значит, ни тот, ни другой украсть не могли.

Веня оглядывается. Видит мужчину и женщину, сидящих по разным сторонам вагона у противоположных окон. До странности похожих: он в жакетке, и она — в жакетке; он в коричневом берете и при усах, и она — при усах и в коричневом берете.

ВЕНЯ. Тут?.. Тоже ничего, что могло бы натолкнуть на мысль: эти двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое: он и она. Но, ясное дело, не могли украсть. Впереди?

Веня глянул вперед.

ВЕНЯ. То же самое…

Впереди сидят дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка — на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят Вене прямо в глаза и облизываются. Веня пальцем подзывает к себе этих двоих. Оба вскакивают немедленно и бросаются к Вене. Веня жестом приглашает их сесть напротив себя. Оба садятся.

ВЕНЯ. Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь?

*Храпуново — Есино*

МИТРИЧ. Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич. Едем в Орехово, в парк… В карусели покататься…

ВНУК. И-и-и-и-и…

Внук не говорит, а верещит.

ВЕНЯ. Та-а-ак. Значит, говоришь, в Карусели.

МИТРИЧ. В Карусели.

ВЕНЯ. А может все-таки, не в Карусели?

МИТРИЧ. В Карусели.

ВЕНЯ. А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? Пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? В свои мысли о своем чувстве? К любимой женщине? А? Скажи!..

МИТРИЧ. Я… Н-н-ничего. Я просто хотел компоту покушать… Компоту с белым хлебом…

ВЕНЯ. Компоту с белым хлебом?

МИТРИЧ. Компоту. С белым хлебом.

ВЕНЯ. Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы, между тем, ищете у меня под лавочкой: нет ли тут компоту с белым хлебом?.. А не найдя компоту…

Митрич принимается плакать. А следом за ним — и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропадает, а нижняя свешивается до пупа, как волосы у пианиста…

ВЕНЯ. Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить… У меня душа, как у троянского коня пузо, многое вместит. Я все прощу, если захочу понять. А я понимаю:…вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вынуждены пить хотя бы то, что вы находите — взамен того, чего бы вы хотели.

Митрич и внук закрывают лица руками. Раскачиваются на лавке в такт своим обвинениям.

ВЕНЯ. Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он — тоже, он пил на чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, отойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт», он был серьезно убежден, что это и есть «пить на брудершафт», он так и умер в своем заблуждении… Так что же? Значит, и вы решили — на брудершафт?..

Митрич все раскачивается, а внучек моргает от горя всеми своими подмышками. Со спины к Вене приближается Черноусый в жакете и берете.

ВЕНЯ. Но довольно слез. Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите — я могу угостить еще. Вы уже по 50 грамм выпили — я могу налить еще по 50 грамм…

ЧЕРНОУСЫЙ. Я тоже хочу с вами выпить.

ВНУК (верещит). И-и-и-и-и, какой дяденька, какой хитрый дяденька!..

ЧЕРНОУСЫЙ. Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей — вот…

Черноусый ставит на лавочку бутылку «столичной».

ЧЕРНОУСЫЙ (Вене). От моей не откажетесь?

Веня теснится, чтобы дать Черноусому место.

ВЕНЯ. Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое.

Веня и Черноусый наливают себе, каждый свое. Митрич и внук протягивают Вене свою посуду: Митрич – пустую четвертинку, а внучек — тот даже целый ковш. Веня наливает им, сколько обещал. Митрич и внук улыбаются.

ВЕНЯ. На брудершафт, ребятишки?

ЧЕРНОУСЫЙ и МИТРИЧ. На брудершафт.

Все выпивают, запрокинув головы, как пианисты.

«Наш поезд на станции Есино не останавливается. Остановки по всем пунктам, кроме Есино».

*Есино — Фрязево*

ЧЕРНОУСЫЙ (Вене). Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, — обязательно краснеют…

ВЕНЯ. Ну так что же?

ЧЕРНОУСЫЙ. Как то есть, «что же»? А Куприн и Максим Горький — так те вообще не просыпались!..

ВЕНЯ. Прекрасно. Ну, а дальше?

ЧЕРНОУСЫЙ. Как то есть «ну, а дальше»? Последние, предсмертные слова Антона Чехова какие были? Помните? Он сказал: «ихь штербе», то есть «я умираю». А потом добавил: «налейте мне шампанского». И уж только тогда умер.

ВЕНЯ. Так-так?

ЧЕРНОУСЫЙ. А Фридрих Шиллер — тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он, знаете, как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского — и пишет. Пропустит один бокал — готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов — готова целая трагедия в пяти актах.

ВЕНЯ. Так-так-так.. Ну, и…

ЧЕРНОУСЫЙ. Ну, и Николай Гоголь…

ВЕНЯ. Что Николай Гоголь?..

ЧЕРНОУСЫЙ. Он всегда, когда бывал у Панаевых, просил ставить ему на стол особый, розовый бокал…

ВЕНЯ. И пил из розового бокала?

ЧЕРНОУСЫЙ. Да. И пил из розового бокала.

ВЕНЯ. А что пил?

ЧЕРНОУСЫЙ. А кто его знает! Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку…

Черноусый хохочет.

ЧЕРНОУСЫЙ. А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся, и садись дописывать свою божественную оперу ?Хованщина?».

И вот они сидят: Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него — Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый, — пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает…

Но уж как только затворится дверь за Римским-Корсаковым — бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» — и бух в канаву. А потом встанет и опять похмелится, и опять бух!.. А между прочим, социал-демократы…

МИТРИЧ. Начитанный, ч-ч-черт!

ЧЕРНОУСЫЙ (взглянув на Митрича). Да, да! Я очень люблю читать! (Вене.) В мире столько прекрасных книг! Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен я кажусь сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить, пью месяц, пью другой, а потом…

ВЕНЯ. Погоди, погоди. Так что же социал-демократы?

ЧЕРНОУСЫЙ. Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные ей люди — все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые — нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина «между лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико!») тем временем рождали мятежную науку и декабризм… А когда они, наконец, разбудили Герцена…

УМНЫЙ. Как же! Разбудишь его, вашего Герцена!

Все вздрагивают и поворачиваются направо.

УМНЫЙ. Ему еще в Храпунове надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака!..

Публика смеется.

ЭН. Да оставь ты его в покое, черт, декабрист хуев!

ЭЛ. Уши ему потри, уши!

ЭМ. Какая разница — в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново.

Все смеются.

ВЕНЯ (Черноусому). Ну, допустим, ну, разбудили они Александра Герцена, причем же тут демократы и « Хованщина»?

ЧЕРНОУСЫЙ. А вот и притом! С этого и началось все главное — сивуха началась вместо клико! Разночинство началось, дебош и хованщина!.. Все эти Успенские, все эти Помяловские — они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! И отчего они пили? — с отчаяния пили! Пили оттого, что честны! Оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: «народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!»

Черноусый вскакивает, снимает берет, принимается жестикулировать, как бешеный.

ЧЕРНОУСЫЙ. Ну, как тут не придти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ — пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик — не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает — и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире — и подыхает, а Гаршин встает — и с перепою бросается через перила…

Умный/Декабрист бросает своего Герцена, подсаживается ближе к Черноусому и воздевает к оратору мутные сырые глаза.

ЧЕРНОУСЫЙ. И вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет абсолютно! Вы Маркса читали? Абсолютно! Другими словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! А теперь — вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону — никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так — до наших времен! Вплоть до наших времен! Этот круг, этот порочный круг бытия — он душит меня за горло! И стоит мне прочесть хорошую книжку — я никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом…

ДЕКАБРИСТ. Стоп! А разве нельзя не пить? Взять себя в руки — и не пить? Вот тайный советник Гете, например, совсем не пил.

ЧЕРНОУСЫЙ (надевает берет). Не пил? Совсем? Не может этого быть!

ДЕКАБРИСТ. А вот и может. Сумел человек взять себя в руки — и ни грамма не пил…

ЧЕРНОУСЫЙ. Вы имеете в виду Иоганна фон Гете?

ДЕКАБРИСТ. Да. Я имею в виду Иоганна фон Гете, который ни грамма не пил.

ЧЕРНОУСЫЙ. Странно… А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. Бокал шампанского?..

ДЕКАБРИСТ. Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки — и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

ВЕНЯ (Декабристу). Так вы говорите: тайный советник Гете не пил ни грамма? А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он — не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки, и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же. Проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязеве. Да. Идут от самого Есино до самого Храпунова или до самого Фрязева — и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гете, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть «Фауста»: кто там не пьет? Все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им «блоху». Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гете. Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что — есть свидетельство — он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства. В этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости.

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет, а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит — а он, старый хрен, уже лыка не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал — тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет и сорвется, загудит на неделю, на месяц… А нас — так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалделый…

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гете! Шиллер ему подносит, а он отказывается — еще бы! Алкоголик он был, алкаш он был, ваш тайный советник, Иоганн фон Гете! И руки у него как бы тряслись!

ДЕКАБРИСТ. Вот это да…

Декабрист — широким жестом — вытаскивает из коверкотового пальто бутылку «перцовой» и ставит ее у ног черноусого. Черноусый вынимает свою «столичную». Все потирают руки — до странности возбужденно… Вене налиливают — больше всех. Старому Митричу — тоже наливают. Внуку подают стакан — он радостно прижимает его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлещут слезы…

ДЕКАБРИСТ. Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гете?

*Фрязево — 61-й километр*

ЧЕРНОУСЫЙ. Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гете.

Все выпивают.

ЧЕРНОУСЫЙ (Вене). А… Разрешите задать вам один пустяшный вопрос: отчего это в глазах у вас столько грусти?.. Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать — вы с утра ничего не пили!

ВЕНЯ. Как то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз… Я просто немного поддал…

ЧЕРНОУСЫЙ. Нет, нет, эта замутненность — от грусти! Вы, как Гете! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гете, все опровергаете!..

ВЕНЯ. Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью?

ЧЕРНОУСЫЙ. Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя заветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если пью — я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А наутро? — наутро я не просто невесел, не просто неподвижен, нет. Я ровно настолько же мрачнее самого себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли эта забота, но она строго геометрична! Если с вечера, спьяна природа нам «передала», то наутро она столько же и «недодает», с математической точностью. Был у вас вечером позыв к идеалу — пожалуйста, с похмелья его сменит позыв к антиидеалу, а если идеал и остается, то вызывает антипозыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма… Она — всеобща и к каждому применима. А у вас — все не как у людей, все, как у Гете!

ВЕНЯ (улыбается). Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?

ДЕКАБРИСТ (тоже обрадованно смеется). Коли она всеобща, то почему же лемма?..

ЧЕРНОУСЫЙ. А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу. Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу — не принимает! С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть — и леммы уже нет… В особенности — если баба плохая, а лемма — хорошая…

Тут враз говорят все. «Да что такое вообще: лемма?» — «И что такое — плохая баба?» — «Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие…»

ДЕКАБРИСТ. У меня, например, тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая…

ЧЕРНОУСЫЙ. Причем тут усы? Разговор о бабе идет, а не об усах! Черт знает, что вы городите!.. Все-таки я думаю: одна хорошая стоит всех ваших. (Вене.) Как вы на это смотрите? С научной точки зрения, как вы на это смотрите?

ВЕНЯ. С научной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать посудин меняют на полную бутылку «Зверобоя», и если ты принесешь, допустим…

Снова галдеж: «Как! Тридцать на одну! Почему так много!?»

ВЕНЯ. Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать — это 3.60. А «Зверобой» стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а это — уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3.60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2.62, но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважить…

ДЕКАБРИСТ. Да чем же она хороша, эта баба за витриной?

ВЕНЯ. Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба — берет у вас плохую посуду, а взамен дает хорошую. И поэтому надо уважить… Для чего вообще на свете баба?

Многозначительное молчание.

ВЕНЯ. А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? «Мерило всякой цивилизации — способ отношения к женщине». Вот и я: прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой тридцать пустых посудин. Я говорю: «Хозяюшка! ?Зверобою? мне, будьте добры…» и ведь знаю, что чуть ли рупь передаю: 3.60 минус 2.62. Жалко. А она на меня смотрит: давать ему, гаду, сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или не даст? Вернее, нет, в это мгновение я смотрю не на нее. Я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк — волосатые ноги. И пальцем мне грозит: «не бери сдачи! Не бери сдачи!» я ему моргаю: мол, жрать будет нечего. «Ну, хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду?»

А он: «Ничего, Веня, перетерпишь. А коли хочешь жрать — так не пей». Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно; думаю: «Мерило! Цивилизации! Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну сморозил ты такое на своем Капри? Тебе хорошо — ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать?..»

Публика смеется.

ВНУК (верещит). И-и-и-и-и, какие агавы, какие хорошие Капри…

ДЕКАБРИСТ. А плохая баба? Разве не нужна бывает и плохая баба?

ВЕНЯ. Конечно, конечно, нужна. Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уже четыре года лежал во гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят: «Вот — он во гробе. И воскреси, если сможешь». А она подошла ко гробу — вы бы видели, как она подошла!

ДЕКАБРИСТ. Знаем! Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет хуево.

ВЕНЯ. Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: «талифа куми». Это, значит, в переводе с древнежидовского: «тебе говорю — встань и ходи». И что ж вы думаете? Встал — и пошел. И вот уже три месяца хожу замутненный…

ЧЕРНОУСЫЙ (качает головой). Замутненность — от грусти, а грусть — от бабы.

ДЕКАБРИСТ. Замутненность — оттого, что поддал.

ВЕНЯ. При чем тут «поддал»! А «поддал»-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить! — плохая, значит, баба! Да если даже и плохая — все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..

ДЕКАБРИСТ. Честное слово! Как хорошо, что мы все такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь… Давайте и я вам что-нибудь расскажу — про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте, как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет…

ЧЕРНОУСЫЙ. Давайте!

ВЕНЯ. Давайте, как у Тургенева!

МИТРИЧ. Давайте!

*61-й километр — 65-й километр*

ДЕКАБРИСТ. Вот история. Был у меня один приятель, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе, как бес в него вошел. Он помешался — знаете на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской арфистке. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе, — а вот поди же ты, помешался…

Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается… Подай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Ну что делать? Малый совсем вымирает, надо его спасать. А тут мне встречается бабонька, не то чтоб очень старая, но уже пьяная-пьяная. «Р-р-рупь мне дай, — говорит. — дай мне р-р-рупь!» и тут-то меня осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил: она, эта мандавошечка, оказалась понятливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку…

И вот — я поволок ее к моему приятелю. Вошли: он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом — швырнул ему в лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил… «Вот она — Эрдели! Не веришь — спроси!»

И наутро смотрю: открылось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом — потихоньку заработал, заучился, запил… И стал человек как человек. Вот видите!..

ЧЕРНОУСЫЙ. Да где же тут любовь и где Тургенев? Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева? Ну, коли читал, так и расскажи! Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили — вот примерно все это и расскажи…

ВЕНЯ. Конечно, у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете… Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо — что нам жабо! Мы уже и без жабо — лыка не вяжем… Если любить по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! Суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски! Вот ты, например (мы незаметно переходили на «ты»). Вот ты, декабрист. Ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, — смог бы палец у него откусить? Ради любимой женщины?

ДЕКАБРИСТ. Ну зачем палец? Причем тут палец?

ВЕНЯ. Нет, нет, слушай. А ты мог бы: ночью, тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, одеть штаны и тихонько вернуться домой? Ради любимой женщины? Смог бы?

ДЕКАБРИСТ. Боже мой! Нет, не смог бы.

ВЕНЯ. Ну вот то-то…

МИТРИЧ. А я бы смог!

Недолгое молчание.

МИТРИЧ. А я смог бы чего-нибудь рассказать…

ЧЕРНОУСЫЙ. Ты? Рассказать? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..

МИТРИЧ. Ну и пусть, что не читал… Мой внучек зато все читал…

ВЕНЯ. Ну ладно! Ладно! Внучек потом расскажет! Внучеку потом слово дадим. Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!.. *Надо чтить потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — все равно: смотри и чти, смотри и не плюй…*

*65-й километр — Павлово-Посад*

МИТРИЧ. Председатель у нас был… Лоэнгрин его звали, строгий такой… И весь в чирьях… И каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет… Плывет и чирья из себя выдавливает…

Из глаз Митрича вытекала влага, и он взволнован.

МИТРИЧ. А покатается он на лодке… Придет к себе в правление, ляжет на пол… Тут уже к нему не подступись — молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек — отвернется он в угол и заплачет… Стоит и плачет, пысает на пол, как маленький…

Губы Митрича искривились, он плачет. Плачет, как женщина, охватив руками голову, плечи его так и ходят ходуном, ходят, как волны…

ВЕНЯ. Ну, и все, что ли, Митрич?

Публика смеется, безобразно и радостно.

ЧЕРНОУСЫЙ. Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А тут черт знает что такое! Какой-то весь в чирьях! Да еще вдобавок «пысает»!

ЭЛ. Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал!

ЭМ. Кинокартину «Председатель»!

ЭН. Какая там, к черту, кинокартина!..

ВЕНЯ. Ему просто все и всех жалко: жалко председателя за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи — все жалко. Первая любовь или последняя жалость — какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальство он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость. (Митричу.) Давай, папаша, давай я угощу тебя, ты заслужил! Ты хорошо рассказал про любовь!.. И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции!

ЧЕРНОУСЫЙ. Давайте! За орловского дворянина!..

Выпивают. К компании подходит женщина в коричневом, в жакетке и с черными усиками. Она вся пьяна, снизу доверху, и берет у нее разъезжается.

УСАТАЯ. Я тоже хочу Тургенева и выпить.

Недолгое молчание.

ДЕКАБРИСТ. Аппетитная приходит во время еды.

Все смеются.

МИТРИЧ. Чего тут смеяться, баба как баба, хорошая, мяконькая…

ЧЕРНОУСЫЙ. Таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали…

ВЕНЯ (суетится). Ну почему, почему! Пусть сядет! Пусть чего-нибудь да расскажет!

Веня усаживает Усатую на место и наливает ей. Она выпивает и сейчас же приподнимет с головы свой берет. Повыше уха у нее имеется шрам.

УСАТАЯ. Вот это видите?

Торжественное молчание.

УСАТАЯ. Плесни еще, молодой человек, а не то я упаду в обморок.

Веня наливает Усатой еще полстакана.

*Павлово-Посад — Назарьево*

Усатая машинально выпивает и тут же настежь растворяет свой рот и всем показывает.

УСАТАЯ. Видите — четырех зубов не хватает?

МИТРИЧ. Да где же зубы-то эти?

УСАТАЯ. А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу — у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и расскажу заодно, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба…

Недолгое молчание.

УСАТАЯ. Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой чудный взгляд тебя томил?» — я говорю: «Ну, допустим, томил…», а он опять за икры: «В душе мой голос раздавался?» Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок — я ходила все дни сама не своя, все твердила: «Пушкин — Евтюшкин — томил — раздавался». «Раздавался — томил — Евтюшкин — Пушкин». А потом опять: «Пушкин — Евтюшкин…»

ЧЕРНОУСЫЙ. Ты ближе к делу, ближе к передним зубам!

УСАТАЯ. Сейчас, сейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. Да, с этого дня все шло так хорошо, целых полгода я с ним на сеновале бога гневила, все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил!.. Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже — нет, чтобы коров пасти и жать хлеба — так она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я — как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю: «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?» а он огрызается: «Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет! Причем же тут Пушкин?» а я ему на это: «когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!»

И так всякий раз — стоило мне немножко напиться.

— Кто за тебя, — говорю, — детишек?.. Пушкин, что ли?.. — а он — прямо весь бесится: «Уйди, Дарья, — кричит, — уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом — все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого…

И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю к нему и ору: «Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?» он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: «пей, напивайся, но Пушкина не трогай! Детишек не трогай! Пей все, пей мою кровь, но господа бога твоего не искушай!» а я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в то время осень была, и я ему вот что тогда заорала: «Уходи от меня, душегуб, совсем от меня уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! А потом пойду в монастырь и схиму приму! Ты придешь ко мне прощенья просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду поцарапаю, собственным своим кукишем! Уходи!» а потом кричу: «ты хоть душу-то любишь во мне? Душу — любишь?» а он весь трясется и чернеет: «сердцем, — орет, — сердцем — да, сердцем люблю твою душу, но душою — нет, не люблю!»

И как-то дико, по-оперному рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоумение разделила вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печи мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего «я»!»

Да! А через месяц он вернулся. А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: «ага! — закричала. — умотал во Владимир-на-Клязьме! А кто за тебя детишек…» а он — не говоря ни слова — подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола… Дело к обмороку, милый. Налей-ка еще чуток…

Все давятся от смеха.

ДЕКАБРИСТ. А где ж он теперь, твой Евтюшкин?

УСАТАЯ. А кто его знает, где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит, он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири…

ВЕНЯ. Верно говоришь, в Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов — был. Он говорит: идешь, идешь, видишь — кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул… Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего — приехал рыхлый и глаза навыкате…

ЧЕРНОУСЫЙ. А в Сибири?..

ВЕНЯ. А в Сибири — нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца — и негры на них вешаются…

ДЕКАБРИСТ. Да что еще за негры? Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в Сибири были. А в Штатах вы были?

ВЕНЯ. Был в Штатах! И не видел там никаких негров!

ДЕКАБРИСТ. Никаких негров? В Штатах?

ВЕНЯ. Да! В Штатах! Ни единого негра!..

ЧЕРНОУСЫЙ. Значит, вы были в Штатах? Это очень и очень чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю… Я вам верю, как родному… Но скажите: свободы там тоже не было и нет?.. Свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? Скажите…

ВЕНЯ. Да, свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они к этому так привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте! У них — я много ходил и вглядывался — у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже в минуту изображается столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. «Отчего бы это? — думал я и сворачивал с Манхэттена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: ?От их паскудного самодовольства, и больше ни от чего?». Но откуда берется самодовольство? Я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль: «В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов — откуда столько самодовольства?» Я шел в Гарлем и пожимал плечами: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей — откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством — а разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!..»

МИТРИЧ (кивает). Да, да, да, они там кушают, а мы почти уже и не кушаем… Весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу… А сами что будем кушать?..

ВЕНЯ. Ничего, папаша, ничего!… ты уже свое откушал, грех тебе говорить. Если будешь в Штатах — помни главное: не забывай родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о родине. Ты помнишь, что он писал?..

МИТТРИЧ. Как же… Помню: «мы с бабушкой уходили все дальше в лес…»

ЧЕРНОУСЫЙ. Да разве ж это про родину, Митрич? Это про бабушку, а совсем не про родину!..

Митрич снова плачет.

*Назарьево — Дрезна*

ЧЕРНОУСЫЙ. Вот вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиринеев?

ВЕНЯ. Не знаю, как по ту. А по эту — совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий — поодаль — поет про того, кто рисует… И так от этого грустно! А они нашей грусти — не понимают…

ЧЕРНОУСЫЙ. Да ведь итальянцы — разве они что-нибудь понимают!

Однако же, меня поражает ваш размах, нет, я верю вам, как родному, меня поражает та легкость, с какой вы преодолеваете государственные границы…

*Дрезна — 85-й километр*

ЭН, ЭЛ и ЭМ (в голос). Контролеры! Контролеры!

В вагон входит контролер Семеныч, плотоядно улыбаясь. Он едва держится на ногах.

СЕМЕНЫЧ (кричит через весь вагон). Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? Кататься на карусели? С вас обоих сто восемьдесят. А ты, черноусый?

ЧЕРНОУСЫЙ. Салтыковская — Орехово-Зуево.

СЕМЕНЫЧ. Семьдесят два грамма. (Замечает Усатую.) Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда?

ДЕКАБРИСТ. Серп и Молот — Покров.

СЕМЕНЫЧ. Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится «зайцев». Когда-то это вызывало «гнев и возмущение», а теперь же вызывает «законную гордость».. А ты, Веня?.. Как всегда: Москва — Петушки?..

*85-й километр — Орехово-Зуево*

ВЕНЯ. Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва — Петушки…

СЕМЕНЫЧ. И ты думаешь, Шшехерезада, что ты и на этот раз от меня отвертишься?.. Да?..

Все наливают Семенычу, сколько должны. Семеныч пьет.

ДЕКАБРИСТ. Почему «Шехерезада» и что значит «отвертишься»?

ВЕНЯ. Когда, три года назад, встретил Семеныча впервые – не имел при себе ни грамма. Он предложил набить мне морду, так я ему ответил, что бить не надо и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуеве, и он так и не успел дослушать, что все-таки случилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?..

А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекает его единственно лишь альковной своей стороной. И когда через неделю в районе Фрязево снова нагрянули контролеры, Семеныч уже не сказал мне: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». Нет, он кинулся ко мне за продолжением: «ну как? Уебал он все-таки эту Лукрецию?» На линии «Москва — Петушки» я единственный безбилетник, который ни разу еще не подносил Семенычу ни единого грамма, а остаюсь в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история — тоже…

СЕМЕНЫЧ. Москва — Петушки? Сто двадцать пять.

ВЕНЯ. Семеныч! Ты выпил сегодня много?..

СЕМЕНЫЧ. Прилично.

ВЕНЯ. А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который «ей-ей, грядет»?..

СЕМЕНЫЧ. Могу, Веня, могу! Сегодня я все могу!..

ВЕНЯ. От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого съезда — можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного всем иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..

СЕМЕНЫЧ. Могу! Говори, говори, Шехерезада!

ВЕНЯ. Так слушай! То будет день, «избраннейший всех дней». В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец: «ныне отпущаеши раба твоего, владыко…» И скажет архангел Гавриил: «богородице дево, радуйся, благословенна ты между женами». И доктор Фауст проговорит: «Вот — мгновение! Продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют: «Исайя, ликуй!» и Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе…

СЕМЕНЫЧ. Сольются в поцелуе?..

ВЕНЯ. Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина…

СЕМЕНЫЧ. Женщина! Что? Что женщина?!

ВЕНЯ. И женщина Востока сбросит с себя паранджу! Окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина востока! И возляжет…

СЕМЕНЫЧ. Возляжет?!

ВЕНЯ. Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится и…

СЕМЕНЫЧ. О-о-о! Скоро ли она? Скоро ли будет?

Семеныч заламывает руки, и суетливо, путаясь в одежде, снимает с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей интимности…

Веня смотрит на него с изумлением. А публика, трезвая публика, вскакивает с мест: «Ого!»

Веня обхватывает Семеныча руками и тащит на площадку вагона.

ВЕНЯ. Семеныч! Семеныч! На нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем отсюда, Семеныч, пойдем!..

Веня вытаскивает Семеныча в тамбур и ставит его у дверей.

СЕМЕНЫЧ. Веня! Скажи мне… Женщина востока… Если снимет с себя паранджу… На ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..

Поезд останавливается на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически открывается.

*Орехово-Зуево*

Старшего ревизора Семеныча выносит на перрон. Мгновения два или три он стоит, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом рушится под ноги выходящей публике. Веню выплевывает толпа, выходящая из вагона и он ползает под чужими ногами, и видит только цветные пятна.

Вот снова вагон. Гэ сидит на скамейке у окна. Веня спит на этой же скамейке, положив свою голову на колени Гэ, и бормочет сквозь дрему.

ВЕНЯ. Я помню… в Орехово… толпа людей… Я мотался, как говно в проруби.

ГЭ. Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались твои бедствия?

ВЕНЯ. Нет, господь, не сразу… Я совладал со стихиями. Я опрокинулся на лавочку.

ГЭ. На какую лавочку, Веня?

ВЕНЯ. Первую от дверей.

ГЭ. Ну, а как опрокинулся?

ВЕНЯ. Я выпил кубанской… (Помолчав.) Через полчаса…

ГЭ. Что через полчаса?

ВЕНЯ. Там птичье пение… я раздвигаю кусты жасмина…

*Орехово-Зуево — Крутое*

Веня открывает глаза. Гэ исчезает. Веня бежит в тамбур. Народ толпится у дверей в ожидании выхода на станции.

ВЕНЯ. Мы подъезжаем к Усаду, да? мы подъезжаем к Усаду?

ЭМ. Ты, чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел, дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверно, еще уроки к завтрему не приготовил, мама ругаться будет. От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!..

ВЕНЯ. Дед, ты что, очумел? Какая мама? Какие уроки?.. От какого горшка?..

ЭЛ. Куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?..

ВЕНЯ. Милая странница?

Поезд подъезжает к остановке и дверь открывается

ВЕНЯ. Это Усад, да?

ЭН. Никак нет!

Эн выходит из поезда вместе с прочей публикой. В тамбуре остается только Сэ. И как только поезд трогается, он близко подходит к Вене.

*Усад — 105-й километр*

ВЕНЯ. Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров?.. Почему?..

Веня делает из горлышка шесть глотков и прилипает к окошку.Чернота плывет за окном.

СЭ. Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой — таково мое мнение. Да если она тебе и не нравится — она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма…

ВЕНЯ. Так-то оно так… Но ведь я выехал утром… В восемь шестнадцать, с Курского вокзала…

СЭ. Да мало ли что утром!.. Теперь, слава богу, осень, дни короткие: не успеешь очухаться — бах! Опять темно… А ведь до Петушков ехать о-о-о-о как долго! От Москвы до Петушков о-о-о-о как долго ехать!..

ВЕНЯ. Да чего «о-о-о-о?»! Чего ты все «о-о-о-о» да «о-о-о-о»! От Москвы до Петушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например…

СЭ. Ну, что тебе прошлая пятница?! Мало ли что было в прошлую пятницу! В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили… А теперь, черт знает, стоит — а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит и стоит? И так у каждого столба. Кроме Есино…

ВЕНЯ. Да-а… Странно все-таки… Выехали в восемь утра… И все еще едем…

СЭ. А другие-то? Другие-то что: хуже тебя? Другие — ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно. Тихонько едут и в окошко смотрят… Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно… Какой торопыга! Если ты выпил, Веня, — так будь поскромнее, не думай, что ты умней и лучше других!..

Веня идет с площадки в вагон, садится на лавочку и отвораясивается от окна. Вся публика в вагоне, человек пять или шесть, спят вниз головой, как грудные младенцы…

ВЕНЯ. Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать! В 11 утра она уже будет меня ждать — а на дворе все еще темно… Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками, и пьяный вдребодан… Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать когда же, наконец, рассветет! Когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!

Стоп! Когда я уезжал из Москвы, заря моей пятницы уже взошла. Значит — уже сегодня пятница! Почему так темно за окном?.. И ведь в прошлую пятницу…

СЭ. Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!..

ВЕНЯ. Нет, нет, послушай… В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы… И было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню…

СЭ. Да что «коса»! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу, в 11 утра, может уже быть совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал «коса»! Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы… А осенний день наоборот — он уже с гулькин хуй! Какой же ты все-таки бестолковый, Веня!

Веня бьет себя по щеке, выпивает еще три глотка. Из глаз Вени текут слезы.

ВЕНЯ. Я обещал ей пурпур и лилии, а везу ей триста грамм конфет «Василек». И вот — через двадцать минут я буду в Петушках и на залитом солнцем перроне подам ей этот «Василек». А все вокруг станут говорить: тринадцатый раз подряд мы видим один сплошной «Василек». Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура. ( К Сэ.) Ты кто?

*105-й километр — Покров*

СЭ. Угадай, кто!

ВЕНЯ. Вот еще! Буду я угадывать!..

СЭ. Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее?.. Где…

ВЕНЯ. Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее.

СЭ. Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне и птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается?

ВЕНЯ. Да. Куда им вздумается.

СЭ (бьет). Так слушай же. Перед тобою — сфинкс. И он в этот город тебя не пустит.

ВЕНЯ. Почему же это он не пустит? Почему же это ты не пустишь? Там, в Петушках — чего? Моровая язва? Там кто-нибудь обратал собственную дочь? И ты…

СЭ. Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе — не пущу, значит — не пущу. Вернее, пущу при одном условии: ты разгадаешь мне пять моих загадок.

ВЕНЯ. Ну, так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки. Для чего тебе, разъебаю, загадки?

СЭ. Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня — по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу — по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой.

ВЕНЯ. На кого это ты намекаешь, скотина? В туалет никогда не ходит? Пьет, не просыпаясь? На кого намекаешь, гадина? Это плохая загадка, сфинкс. Это загадка с поросячьим контекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку.

СЭ. Ах, не будешь! Ну, ну! То ли ты еще у меня запоешь! Слушай вторую:

«Когда корабли седьмого американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей седьмого американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была изнасилована, каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой, каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой, каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках 428 — определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток?»

ВЕНЯ. На кого, на кого ты теперь намекаешь, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что ты этим хочешь сказать, паразит? Я не буду решать и эту загадку, сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью.

СЭ. Ха-ха! Давай третью:

«Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет. Есть одни только пункты Б. Так вот: Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта Б1 в сторону пункта Б2. В то же мгновение Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта Б2 в пункт Б1. Неизвестно почему, оба они оказались в пункте Б3, отстоящем от пункта Б1 на расстоянии 12-ти водопьяновских плевков, а от пункта Б2 — на расстоянии 16-ти плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на три метра семьдесят два сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, — выходил ли Папанин спасать Водопьянова?»

ВЕНЯ. Боже мой! Ты что, с ума своротил? Чего это ты несешь? Почему в Петушках нет ни А, ни Ц, а одни только Б? На кого ты, сука, намекаешь?

СЭ. Ха-ха! И эту решать не будешь?! И эту — не будешь?! Заело, длинный мозгляк? Заело? Так вот тебе — на тебе четвертую:

«Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине — и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было: два пирожных по 35 коп., две порции бефстроганова по 73 коп. Каждая, две порции вымени по 39 коп. И два графина с хересом по 800 грамм каждый. Все черепки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так: один графин не разбился, но из него все до капельки вытекло; другой графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз больше стоимости порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок, — узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала?»

ВЕНЯ. Как то есть «Курского вокзала»?

СЭ. Так то есть: «Курского вокзала»!

ВЕНЯ. Так он же поскользнулся-то — где? Он же в Петушках поскользнулся! Лорд Чемберлен поскользнулся-то ведь в петушинском ресторане!..

СЭ. А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет?

ВЕНЯ. Боже ты мой! Откуда берутся такие сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста, да вдобавок еще несет такую ахинею! И с такою бандитскою рожей!.. На что ты намекаешь, сволочь?.. Это не загадка, сфинкс. Это издевательство.

СЭ. Нет, это не издевательство, Веня. Это загадка. Если и она тебе не нравится, тогда…

ВЕНЯ. Тогда давай последнюю, давай!

СЭ. Давай последнюю. Только слушай внимательно:

«Вот идет Минин, а навстречу ему — Пожарский. ?Ты какой-то странный сегодня, Минин, — говорит Пожарский, — как будто много выпил сегодня?». «Да и ты тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь». «Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?» «Сейчас скажу: сначала 150 грамм российской, потом 500 кубанской, 150 столичной, 125 перцовой и 700 грамм ерша. А ты?» «А я ровно столько же, Минин».

«Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?» «Как куда? В Петушки, конечно. А ты, Минин?» «Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь, князь, совсем идешь не в ту сторону!» «Нет, это ты идешь не туда, Минин». Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин — туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал.

Так. А теперь ты мне скажи: если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем — куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел, скажи?

ВЕНЯ. В Петушки?

СЭ. Как бы не так! Ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал! Вот куда!

(Смеется.) А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своею дорогою и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел?

ВЕНЯ. Может быть, в Петушки? (Чуть не плача.) В Петушки, да?

СЭ. А на Курский вокзал — не хочешь? Ха-ха! И Минин придет на Курский вокзал!.. Так кто же из них попадет в Петушки, ха-ха? А в Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..

Сэ хватает Веню за нос обеими руками и тащит через весь вагон.

ВЕНЯ. Куда? Куда ты волокешь меня, сфинкс? Куда ты меня волокешь?

СЭ. А вот увидишь — куда! Ха-ха! Увидишь!..

*Покров — 113-й километр*

Сэ вытаскивает Веню в тамбур, поворачивает его лицом к окошку. Веня смотрит в окно. Прежней черноты за окном уже нет. На запотевшем стекле чьим-то пальцем написано: «хуй» — и вот в эти просветы Веня видит городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись «Покров».

ВЕНЯ. Покров! Город петушинского района! Три остановки, а потом — Петушки!

СЭ. Ха-ха-ха! Да,только что отъехали мы от станции Покров. Ты же видел надпись «Покров» и яркие огни? Все это хорошо — и «Покров», и яркие огни...

ВЕНЯ. Стой! Почему огни с «Покровом» оказались справа по ходу поезда?.. Я ведь не мальчик, я знаю, если станция Покров оказалась справа, значит — я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки!.. О, паршивый сфинкс!

Тут Сэ растворяется в воздухе. Веня бежит из тамбура, мечется по всему вагону.

ВЕНЯ (сонной публике). Где мой чемоданчик? Весь путь от Москвы я сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристы — все сидели слева по ходу поезда. И значит, если я еду правильно, мой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Где мой чемоданчик?! Почему темно? Куда я еду? В какой стороне Петушки?

Никто не отвечает Вене, все только смотрят на него глупыми круглыми глазами и молчат. Веня садится на скамью, обхватывает голову руками, раскачивается вперед-назад. Потом допивает остаток кубанской одним глотком. Некоторое время он едет молча а потом, вдруг, начинает выть.

ВЕНЯ. Человек не должен быть одинок. Человек должен отдавать себя людям. Даже если его не хотят. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. А вы — отдайте мне себя, и, отдав, скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?

Веня срывается с места и бежит, бежит сквозь вагоны.

*113-й километр — Омутище*

Внезапно, в одном из вагонов, Веня останавливается рядом с женщиной, сидящей у окна. Она вся в черном с головы до пят. Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, Веня подходит к ней сзади. Женщина плачет.

ВЕНЯ (тихо). Княгиня.

КНЯГИНЯ. Ну, чего тебе?

ВЕНЯ. Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего…

КНЯГИНЯ. Не болтай ногами, малый. Это не гармонь, а переносица… Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь…

ВЕНЯ. Это мне-то, в моем положении — молчать! Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки!.. Жаль, что я забыл, о чем эта загадка, но помню, что-то очень важное… Впрочем, ладно, потом вспомню… Княгиня плачет — а это гораздо важнее… О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад — и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять напоказ!.. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме «скорби» и «страха», и после этого — и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом!.. Княгиня.. а княгиня!..

КНЯГИНЯ. Ну, чего тебе опять?

ВЕНЯ. Нет у тебя уже гармони. Не видно.

КНЯГИНЯ. Чего ж тебе тогда видно?

ВЕНЯ. Одни только кустики.

КНЯГИНЯ. Сам ты кустик, я вижу…

ВЕНЯ. Слушай-ка, княгиня!.. А где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа.

КНЯГИНЯ. Чего ты мелешь?

ВЕНЯ. Честное слово, с тех пор не видел… Где он, твой камердинер?

КНЯГИНЯ. Он такой же твой, как и мой!

Княгиня вскакивает с места и шагает к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей — она останавливается, поворачивает к Вене сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и очень похожая на Нее, на рыжую гармоническую потаскуху из Петушков.

КНЯГИНЯ. Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Не-на-ви-жу!!

Княгиня скрывается.

*Омутище — Леоново*

*Леоново — Петушки*

*Петушки. Перрон*

А тут, конечно, все заклубилось. Из тумана выходит понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках держит ножик.

ВЕНЯ. Митридат, это ты, что ли? (Почти беззвучччно от тошноты.) Это ты, что ли, Митридат?

МИТРИДАТ. Я.

ВЕНЯ. А измазан весь почему?

МИТРИДАТ. А у меня всегда так. Как полнолуние — так сопли текут…

ВЕНЯ. А в другие дни не текут?

МИТРИДАТ. Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние.

ВЕНЯ (шепчет от тошноты). И ты что же, совсем их не утираешь?

МИТРИДАТ. Да как сказать? Случается, что и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь? Не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой вкус — один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать. А в полнолуние…

ВЕНЯ. Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?..

МИТРИДАТ. Как зачем?.. Да резать тебя — вот зачем!.. Спросил тоже: зачем!.. Резать, конечно…

Митридат щерится, чернеет и еще хохочет сверх того! Потом опять щерится и опять хохочет. Озноб бьет Веню.

ВЕНЯ. (шепчет или кричит). Что ты, Митридат, что ты! Убери нож, убери, зачем?

МИТРИДАТ. Изувер!

Митридат пронзает Вене левый бок. Веня тихонько стонет.

ВЕНЯ. Перестань, Митридат, перестань…

Митридат пронзает Вене правый бок, потом опять левый, потом опять правый . Веня только взвизгивает. Бьется от боли по всему перрону. ПРОСЫПАЕТСЯ. Вокруг — ничего, кроме ветра, тьмы и холода.

ВЕНЯ. Таких ли судорог я ждал от тебя, Петушки? Пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин?.. Царица небесная, я — в Петушках!..

Тишина.

Ничего, ничего… Талифа куми, как сказал спаситель, то есть — встань и иди. А чемоданчик мой, боже, где мой чемоданчик с гостинцами?.. Два стакана орехов для мальчика, конфеты ?василек? и пустая посуда… Где чемоданчик? Кто и зачем его украл — ведь там же были гостинцы!.. А посмотри, посмотри есть ли деньги, может, есть хоть немножко!.. Ничего, ничего, Ерофеев… Талифа куми, как сказала твоя царица, когда ты лежал во гробе, — то есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что ни дальше — то легче. Ты же сам говорил больному мальчику: ?раз — два — туфли — одень — ка — как — ти — бе — не — стыд — на — спать…? Самое главное — уйти от рельсов, здесь вечно ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Петушков в Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души — узнаешь, и почему она не встретила, и все узнаешь… Иди, Веничка, иди.

*Петушки. Вокзальная площадь*

Веня встает и идет.

ВЕНЯ. Если хочешь идти налево, Веничка, — иди налево. Если хочешь направо — иди направо. Все равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперед, куда глаза глядят…

Кто-то говорил мне когда-то, что умереть очень просто: что для этого надо сорок ряз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вдохнуть, и выдохнуть столько же, из глубины сердца, — и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать?

О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать? Узнать, сколько времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой… Да если б и встретилась живая душа — смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода… О, немота!..

И если я когда-нибудь умру — а я очень скоро умру, я знаю — умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри, но не приняв, — умру и он меня спросит: «хорошо ли тебе было ТАМ? Плохо ли тебе было?» — я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? И затмение души тоже? Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой — меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я — что я? Я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, — я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует… «Почему же ты молчишь?» — спросит меня господь, весь в синих молниях. Ну, что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать…

*Петушки. Садовое кольцо*

ВЕНЯ. Не плачь, Ерофеев, не плачь… Ну, зачем? И почему ты так дрожишь? От холода или еще отчего?.. Не надо…

Из переулка навстречу Вене выходит трехголовый пес.

ПЕРВАЯ ГОЛОВА ПСА. Ну, вот ты и попался.

ВЕНЯ. Как то есть… Попался?

ВТОРАЯ ГОЛОВА ПСА. А вот так и попался! Больше никуда не поедешь.

ВЕНЯ. А почему?..

ТРЕТЬЯ ГОЛОВА ПСА. А потому.

ВЕНЯ. Слушайте…Слушайте, вы меня пустите… Что я вам?.. Я просто не доехал до девушки… Ехал и не доехал… Я просто проспал, у меня украли чемоданчик, пока я спал… Там пустяки и были, а все-таки жалко… «Василек»…

ПЕРВАЯ ГОЛОВА ПСА. Какой еще василек?

ВЕНЯ. Да конфеты, конфеты «Василек».. И орехов двести грамм, я младенцу обещал за то, что он букву хорошо знает… Но это чепуха… Вот только дождаться рассвета, я опять поеду… Правда, без денег, без гостинцев, но они и так примут, и ни слова не скажут… Даже наоборот. Я хочу опять в Петушки…

ВТОРАЯ ГОЛОВА ПСА. Не поедешь ты ни в какие Петушки?

ВЕНЯ. Ну.. пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу!..

ТРЕТЬЯ ГОЛОВА ПСА. Не будет тебе никакого вокзала!

ВЕНЯ. Да почему?..

ПЕРВАЯ ГОЛОВА ПСА. Да потому!

Веня хватается за голову и бежит. Они — следом за ним…

*Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому*

ВЕНЯ. Не Петушки это, нет!..

Кремль сияет перед Веней во всем великолепии. Слышен топот погони.

ВЕНЯ. Я, исходивший всю Москву вдоль и поперек, трезвый и с похмелюги, — я ни разу не видел Кремля, я в поисках Кремля всегда попадал на Курский вокзал. И вот теперь увидел — когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете!..

Веня доходит до кремлевской стены и падает. Они приближаются.

ВЕНЯ. Кто вы? Что я сделал вам? Мне все равно… Мне нужна дрожь, мне нужен покой… Пронеси, господь…

Они подходят к Вене и обступают его.

ПЕРВАЯ ГОЛОВА ПСА. Ты от нас? От НАС хотел убежать?

Они хватают Веню за волосы и бьют головой о кремлевскую стену. Кровь стекает по лицу Вени и за шиворот…

ВТОРАЯ ГОЛОВА ПСА. Ты ему в брюхо, в брюхо! Пусть корчится!

Веня вырывается и бежит вниз по площади. На два мгновения он останавливается у памятника — смахивает кровь с бровей, чтобы лучше видеть — сначала смотрит на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина.

ВЕНЯ. Куда? В какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать?

Веня бежит в ту сторону, куда смотрит князь Дмитрий Пожарский…

*Москва — Петушки. Неизвестный подъезд*

Веня вползает в неизвестныйподъезд и там падает на ступени лестницы.

ВЕНЯ. Ничего, ничего… Талифа куми, встань и приготовься к кончине… Для чего, господь, ты меня оставил? Для чего же все-таки, господь, ты меня оставил? Ангелы небесные, они подымаются! Что мне делать? Что мне сейчас делать, чтобы не умереть? Ангелы!.. Вы смеетесь? Позорные твари! Вы смеетесь, а бог молчит!

Входит трехголовый пес. Он бросается на Веню, терзает его, рвет на куски.

ВЕНЯ. Зачем вы? Зачем?..